

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



СВИТОК ПЕРВЫЙ

ТРОСТНИКОВАЯ ЛОДОЧКА

1

Я, Синухе, сын Сенмута и жены его Кипы, пишу это. Не во славу богов страны Кемет, ибо боги мне постыли. Не во славу фараонов, ибо деяния их мне опротивели. Я пишу это лишь для себя самого: не уповая на благосклонность богов, не ожидая милости от царей, не из страха и не в надежде на будущее. За долгую жизнь, полную испытаний и утрат, я понял, что вера в бессмертие столь же наивна, как вера в богов и правителей, и пустые страхи больше меня не мучают. Лишь для себя самого пишу я это и тем, думаю, отличаюсь от всех, кто писал до меня или будет это делать после меня.

Ибо все, что начертано до меня, — начертано во имя богов или людей. Фараоны ведь тоже люди: их желания и ненависть, их боль и отчаяние подобны нашим. Сколько бы их ни причисляли к сонму богов, они ничем не отличаются от нас. Они властны срывать свой гнев и освобождаться от страха, но от страстей и разочарований их не в силах оградить никакое могущество. Итак, все, что писалось до меня, делалось либо по приказу царей, либо в надежде умиловить богов или заставить людей поверить в то, чего не было. А если и было, то совсем иначе, ибо роль приказавшего восславить себя, его участие в описанных событиях — всегда больше или меньше истинной роли. Вот почему я говорю, что со времен седой древности все делалось во имя богов или людей.

Все в мире повторяется, все неизменно под солнцем, сколь бы ни менялись одеяния людей и их слова. Но раз неизменен сам человек, неизменным будет и то, что напишут после меня. Люди бегут от правды, тогда как вокруг лжи они роятся, словно мухи над медовой лепешкой, и даже если они сидят в куче навоза, сброшенного на перекрестке улиц, слова сказочника для них благодуханны.

Мне же, Синухе, старому и во всем разочарованному сыну Сенмута, ложь опостылела. Поэтому я пишу лишь о тех событиях, которые видел собственными глазами или в правдивости рассказов о которых уверен. Этим я отличаюсь от всех, кто жил до меня и будет жить после. Ибо человек, выводящий слова на папирусе, а тем более тот, кто приказывает высечь имя свое и деяния свои на камне, надеется, что слова эти будут прочитаны потомками и имя его и мудрость его прославятся в веках. А в том, что поведаю я, не будет ничего достойного славы, деяния мои не стоят похвал, а мудрость так горька, что никого не порадует. Дети, упражняясь в рисовании иероглифов, не напишут моих слов на глиняных табличках, мои слова не позаимствует тот, кто захочет похвалиться чужой мудростью. Начиная свой рассказ, я отрекаюсь от надежды быть когда-либо прочитанным или понятым.

Человек в своей жестокости страшнее и бесчувственнее крокодила, живущего в реке. Его тщеславие взвивается легче пыли. Брось его в реку — он выплывет, обсохнет — и будет прежним. Погрузи его в горе и отчаяние, и если он поднимется, то останется таким же, как был. Много перемен я, Синухе, видел на своем веку, но все опять идет по-прежнему, хотя и находятся люди, которые утверждают, будто бы произошло нечто такое, чего еще никогда не бывало. Но это лишь пустые слова.

Я, Синухе, видел, как сын убивал отца своего на улице. Видел, как бедные поднялись против богатых и боги восстали против богов. Видел, как человек, который прежде пил вина из золотых чаш, склонялся в нищете, чтобы ладонью зачерпнуть речной воды. Те, кто взвешивал золото на весах, — попрошайничали на улицах, а жены их продавали себя неграм за маленькую медяшку, чтобы купить хлеба детям.

Но то же бывало и раньше. И во времена мудрейших фараонов под роскошным балдахином мог лежать человек, которому прежде приходилось спать на глиняном полу. Тогда тоже приходили чужеземцы и разбивали головы детей о пороги домов, связывали и угоняли в рабство женщин, одетых в царский лен, а мужей, построивших себе богатые могилы, закалывали и тела их швыряли в реку.

Итак, ничего нового не случилось на моих глазах.

Но я, Синухе, пишу это для себя и ради себя самого, ибо знание разъедает мое сердце, как щелок, и я лишился всякой радости в жизни. Начиная я эту книгу в третий год моего изгнания, на краю пустыни, у подножия гор, там, где древние фараоны брали камень для своих изваяний, на берегу Восточного моря, по которому корабли плывут в страну Пунт. Пишу я это, потому что вино горит у меня в горле, а ласки женщин уже не веселят меня и ни сад мой, ни пруд, полный рыбы, уже не радуют глаз. Холодными ночами в зимнее время черная девушка согревает мою постель, но нет мне радости от нее. Я прогнал певцов, звуки цитр и флейт раздражают мой слух. Вот почему я пишу это, я, Синухе, которому ни к чему богатство и золотые чаши, мирра, черное дерево и слоновая кость.

Ибо все это есть и ничто не отнято у меня. По-прежнему боятся рабы моей палки и стражники склоняют предо мной голову, опуская руки до колен. Но предел шагов моих измерен, и ни один корабль не посмеет пристать к берегу, окаймленному белым прибоем. Поэтому я, Синухе, никогда больше не вдохну запах черной земли весенней ночью, и потому я пишу это.

И все-таки мое имя было однажды записано в Золотую книгу фараона, и я жил в Золотом дворце царей, на правом берегу реки. Мое слово весило больше, чем слово владык страны Кемет. Знатные вельможи присылали мне подарки, и золотые цепи обвивали мою шею. У меня было все, к чему стремятся люди, но я желал большего. Поэтому и оказался здесь. Я изгнан из Фив в шестой год правления фараона Хоремхеба, и меня бы забили до смерти, как собаку, посмей я вернуться, меня бы расплющили камнями, как лягушку, посмей я только шаг ступить за пределы отведенного мне пространства. Это приказ царя, который был когда-то моим другом.

Но чего еще можно ожидать от низкородного, который велел выскоблить имена царей из списка властителей страны и заставил писцов внести в царский перечень своих родителей, сделав их знатными посмертно! Я видел его коронацию, видел, как на его голову возложили красную и белую короны. Через шесть лет, считая с того дня, он отправил меня в изгнание. Но по счету его писцов это произошло на двадцать второй год его правления. Так не ложь ли все, что писалось и пишется?

Того, кто жил правдой, я презирал за слабость и ужасался бедствиям, в которые он вверг страну Кемет ради своей правды. И вот ныне его отмщение мне: я сам хочу жить правдой, хотя и не ради его бога, а ради себя. Правда — острый нож, правда — открытая рана в человеке, правда — едкая щелочь, растрavляющая сердце. Оттого мужчина в пору молодости и силы своей бежит от правды в дома увеселений, ослепляет себя трудом и деятельностью, поездками и развлечениями, властью и строительством. Но настает день, когда правда пронзает его насквозь, и уж нет ему больше радости, он одинок, одинок среди людей, и боги не спасут его от одиночества. Это пишу я, Синухе, хорошо зная, что дела мои дурны, а пути — кривы, но не извлечет из них урока тот, кто прочтет все это. Посему я лишь для себя и ради себя пишу это. Пускай другие отмывают свои грехи святой водой Амона, я же, Синухе, очищаюсь, описывая дела мои. Пусть другие взвешивают ложь сердец своих на весах Осириса, я же, Синухе, взвешиваю свое сердце на острие тростникового пера.

Но прежде чем начать, я должен излить свои жалобы, ибо так стонет от горя мое почерневшее сердце изгнанника.

Кто хоть раз испил воды Нила, будет с тоскою стремиться к нему. Кто некогда родился в Фивах, начнет, тоскуя, стремиться обратно, ибо нет на земле города, равного Фивам. Кто родился в маленьком проулке, будет скучать и тянуться в этот проулок; из кедрового дворца он будет рваться назад в глиняный домик, среди благоухающей мирры и тончайших притираний он станет тосковать по дымку кизняка в очаге и чаду поджариваемой рыбы.

Все мои золотые сосуды я бы отдал за глиняный горшок, лишь бы еще раз ступить ногой на мягкую землю страны Кемет. Мои льняные одежды я бы променял на кожаный передник раба, побуревший от пота и зноя, чтобы хоть раз еще услышать шелест речного камыша, овеваемого весенним ветерком.

Нил разливается, города, как драгоценные камни, выступают из зеленой воды, ласточки прилетают, журавли бродят по мелководью, а меня нет. Почему я не ласточка, почему не журавль с сильными крыльями, чтобы полететь мимо стражников обратно в страну Кемет?

Я бы свил гнездо свое среди расписных колонн Амона, где обелиски пламенеют золотом, а к небу возносятся курения и жир-

ный дым жертвоприношений. Я бы свил гнездо на крыше глиняной хижины в квартале бедных. Быки тянут плуги, ремесленники склеивают листы папируса, торговцы кричат, расхваливая свой товар, жук-скарабей катит навозный шар по каменной мостовой.

Светла была вода моей юности, сладко было мое безумие. Горько и кисло вино старости, и самый сдобный медовый хлеб не заменит черствой корки моей бедности. Поверните вспять, годы, теките навстречу, ушедшие вёсны, плыви, Амон, по небу с запада на восток, чтобы вернуть мою молодость. Ни слова не изменю, ни от одного поступка не отрежусь. О тонкая тростинка, о гладкий папирус, дайте мне снова пережить мои суетные дела, безумие моей молодости.

Это написал Синухе, изгнанник, беднейший из всех бедняков страны Кемет.

2

Сенмут, которого я называл отцом, был лекарем бедных в Фивах. Кипа, которую я называл матерью, была его женой. У них не было детей. Я попал к ним только в дни их старости. В простоте своей они называли меня даром богов, не подозревая, сколько зла принесет им этот дар. Мать моя Кипа назвала меня Синухе, потому что она любила сказки, а я, как ей представлялось, прибыл к ней, убегая от опасностей, подобно тому как сказочный Синухе¹, услышав нечаянно в шатре фараона страшную тайну, бежал, скрывался, претерпевая всяческие превратности, скитаясь долгие годы по чужим странам.

Но это был только невинный лепет, невинный, как ее детская душа. Она ведь искренне хотела, чтобы ни опасности, ни превратности судьбы меня не коснулись. Вот почему она нарекла меня Синухе. Однако жрецы Амона говорили, что имя человека есть знамение. И потому, думала она, мое имя навлекло на меня опасности и приключения, завело в дальние страны, посвятило в страшные тайны царей и их жен, ревностно охраняемые смертью. На-

¹ Имеется в виду герой «Сказания о Синухе» — одного из древнейших памятников художественной литературы (XX–XVIII вв. до н. э.). — *Здесь и далее — примеч. ред.*

конец, мое имя сделало меня беглецом и изгнанником. Но сколь же наивно думать, будто имя может иметь какое-то значение для судьбы человека. То же самое произошло бы со мной, будь мое имя Кепру, или Кафран, или Мосе, так я полагаю. И все же нельзя отрицать, что Синухе стал изгнанником, тогда как Хеб, Сын сокола, короновался под именем Хоремхеб красной и белой коронами как владыка Нижнего и Верхнего Египта. Так что о знаменательности имени пусть каждый думает что хочет. Можно верить в то или в другое, любая вера дает утешение.

Я родился во время правления великого фараона Аменхотепа III, в тот самый год, когда родился и тот, который хотел жить правдой, чье имя не положено больше помянуть, ибо оно проклято, хотя тогда этого, конечно, никто не мог предугадать. Поэтому во дворце было великое ликование по случаю его рождения, и царь принес многочисленные жертвы Амону в большом храме, построенном по его же велению, и народ радовался и веселился, не зная, что ожидает его впереди. Божественная супруга фараона Тейе долго и безуспешно ждала сына, хотя она была Божественной супругой уже целых двадцать два года и ее имя было высечено рядом с царским именем в храмах и на изваяниях. Поэтому тот, чье имя нельзя упоминать, был с величайшей торжественностью провозглашен наследником царской власти, едва только жрецы успели совершить обрезание.

Но он родился лишь весной, во время сева, я же, Синухе, появился на свет еще осенью, в самое половодье. День моего рождения неведом, ибо я плыл по течению Нила в маленькой тростниковой лодочке, обмазанной снаружи густым черным варом, и моя мать Кипа нашла меня в прибрежных камышах, почти у самого порога своего дома, так высоко тогда поднялась вода. Ласточки уже прилетели и щебетали над моей головой, но сам я молчал, и она подумала, что я мертв. Она внесла меня в дом, согрела у жаровни и вдвухала дыхание мне в рот, пока я не начал тихонько плакать.

Отец мой Сенмут вернулся после визитов к больным, неся двух уток и лукошко муки. Он услышал мой писк и решил, что мать моя Кипа завела котенка, и стал бранить ее. Но мать моя сказала: «Это не котенок, а мальчик! Радуйся, муж мой Сенмут, у нас родился сын».

Отец мой рассердился и сказал, что она спятила, но Кипа показала ему меня, и моя беспомощность тронула сердце отца. Так они усыновили меня и даже уверили соседей, что я родился у Кипы. Это уж ей так хотелось, из тщеславия, и я не знаю, многие ли ей поверили. Но тростниковую лодочку, в которой я приплыл, Кипа сохранила и повесила в комнате над кроватью. Отец мой взял лучший из своих медных сосудов и отнес в храм, чтобы меня записали в книгу родившихся как его собственного сына, рожденного Кипой. Только обрезание он совершил сам, так как был лекарем и опасался жреческих ножей, которые оставляли долго гноившиеся раны. Впрочем, может быть, он сделал это из экономии, поскольку, будучи лекарем бедных, жил отнюдь не богато.

Всего этого я, правда, не помню, но мать и отец подробно рассказывали мне об этом, столько раз повторяя одни и те же слова, что я верю им и не знаю причины, почему бы им не верить. В детстве я считал их своими настоящими родителями, и ничто не омрачало той светлой поры. Правду они поведали мне позже, когда остригли мои детские кудри и я стал юношей. Они поступили так, потому что боялись и почитали богов, и отец мой не хотел, чтобы ложь омрачила всю мою жизнь.

Кто я и откуда, кто были мои настоящие родители — этого я, в сущности, никогда не знал, но ныне у меня есть на этот счет соображения, о которых я расскажу позже, хотя это всего лишь мои собственные домыслы.

Известно, однако, что я был не единственным младенцем, пущенным вниз по течению в просмоленной тростниковой лодочке. Фивы были большим городом, с храмами и дворцами, вокруг которых без числа лепились глиняные хижины бедняков. При великих фараонах Египет подчинил своему владычеству многие страны, а вместе с величием и богатством менялись нравы. В Фивы отовсюду понаехали чужеземные купцы и ремесленники, все они строили там храмы своим богам, но сколь велики были роскошь, богатство и блеск в храмах и дворцах, столь же велика была бедность за их стенами. Многие бедняки бросали детей на милость судьбы, но и богатые женщины, чьи мужья часто бывали в отъезде, отправляли обличительное свидетельство своей супружеской неверности в тростниковой лодочке вниз по реке. Как знать, возможно, меня бросила жена корабельщика, изменившая мужу с си-

рийским торговцем. А может, я был сыном чужеземцев, поскольку мне не сделали обрезания. Когда мои детские кудри были острижены и мать моя Кипа спрятала их в маленький деревянный сундучок, рядом с моими первыми сандалиями, я долго разглядывал тростниковую лодочку, которую она мне показала. Ее стебли высохли, пожелтели и закоптились от дыма жаровни. Они были связаны между собой узлами, которыми птицеловы вяжут свои сети. Но ничего о моих родителях лодочка поведать не могла. Так я получил первую рану в сердце.

3

Когда приходит старость, память, словно птица, стремится назад, к дням детства. На склоне дней детство в моих воспоминаниях сияет светом ясного неба, будто все тогда было лучше и красивее, нежели во времена нынешние. И тут, кажется, нет различия между бедным и богатым, ибо нет на свете такого бедняка, который в детстве своем не видел бы проблесков света и радости, когда он вспоминает об этом на старости лет.

Отец мой Сенмут жил в шумном, бедном квартале, вверх по течению от храма. Невдалеке от его дома была пристань с большими каменными причалами, у которых разгружались плавающие по Нилу корабли. На узких улочках находилось много пивных и винных лавчонок, стояли дома увеселений, куда в своих носилках нередко навевывались и состоятельные мужья из центра города.

По соседству с нами жили сборщики налогов, младшие офицеры, шкиперы и двое-трое жрецов пятого ранга. Как и мой отец, это были наиболее почтенные жители квартала бедняков. Они составляли здесь высшее сословие, возвышаясь над прочим людом, подобно тому как каменная стена возвышается над поверхностью воды.

Дом наш был велик и просторен по сравнению с глиняными хижинами бедноты, стены которых тянулись унылыми рядами вдоль узких улочек. Перед нашим домом был даже садик в несколько шагов, где росла посаженная моим отцом тутовая смоковница. Кусты акации отделяли сад от улицы, а водоемом служил выложенный камнем бассейн. Правда, вода попадала в него только во время разлива. В доме было четыре комнаты, в одной из

которых моя мать готовила пищу. Обедали мы на террасе, через нее же проходили и посетители на прием к отцу. Два раза в неделю к нам являлась уборщица, потому что моя мать любила чистоту. Раз в неделю прибегала прачка и забирала нашу одежду в стирку, к себе, на берег реки.

Посреди бедного, беспокойного, все более заполняемого пришлым людом квартала, развращенность которого открылась мне, лишь когда я вырос и стал юношей, мой отец и все наши соседи хранили традиции и старые, честные обычаи. В то время как обычаи были в пренебрежении уже и в самом городе, среди богатых и знати, он и люди его класса по-прежнему с нерушимой твердостью представляли старый Египет — с почитанием богов, чистосердечностью и бескорыстием. Как будто противопоставляя себя своему кварталу и людям, с которыми им приходилось иметь дело, они старались всем своим поведением и образом жизни подчеркнуть свою обособленность.

Но зачем я рассказываю о том, что понял лишь позднее? Не лучше ли вспомнить шершавый ствол смоковницы и шелест ее листьев, когда я лежал в тени, отдыхая от палящего зноя? Почему бы не вспомнить мою лучшую игрушку, деревянного крокодила, которого я таскал на веревочке по вымощенной камнями улице; он следовал за мной, разевая красную пасть, хлопая челюстями, а соседские ребятишки сбегались и глядели на него с изумлением. Много медовых конфеток, много блестящих камней и медных проволочек получил я, позволяя другим детям поводить его и поиграть с ним. Такие игрушки бывали лишь в семьях вельмож, но мой отец получил ее от царского столяра за то, что компрессами избавил от нарыва, мешавшего тому сидеть.

По утрам мать водила меня на овощной рынок. Правда, ей не нужно было делать много покупок, но она могла потратить водяную меру времени на то, чтобы выбрать пучок лука, а на приобретение пары сандалий у нее уходило предобеденное время целой недели. Из ее разговоров можно было заключить, что она богата и желает иметь все самое лучшее, и если она не покупает всего, что мне нравится, то лишь ради того, чтобы приучить меня к бережливости. Так она говорила. «Не тот богат, кто имеет золото и серебро, а тот, кто довольствуется малым», — внушала она мне, но ее бедные старые глаза с восхищением глядели на пестрые шерстяные ткани из Сидона и Вавилонии, тонкие и легкие

как пух. Ее загорелые, огрубевшие от работы руки, словно лаская, трогали украшения из слоновой кости и страусовых перьев. Все это мишура, ненужные вещи, уверяла она меня и, наверное, себя тоже. Но моя детская душа восставала против этих поучений, и мне очень хотелось бы иметь мартышку, которая обнимала за шею своего владельца, или яркую разноцветную птицу, которая выкрикивала сирийские и египетские слова. И я бы ничего не имел против золотых цепочек и золотых сандалий. Лишь много позднее я понял, что моя старенькая бедняжка Кипа ни чуточки бы не возражала жить в богатстве.

Но поскольку она была всего лишь женой бедного врача, то находила удовлетворение своим мечтам в сказках. Вечерами, перед сном, она рассказывала мне вполголоса все сказки, какие знала: о Синухе и о моряке, потерпевшем кораблекрушение и возвратившемся домой от змеиного царя с несметными богатствами¹, о богах и колдунах, о заклинателях и о древних фараонах. Отец мой часто ворчал и говорил, что напрасно она забивает мне голову глупостями и всяким вздором, но вечером, как только отец начинал храпеть, мать продолжала свои истории и сама наслаждалась ими не меньше, чем я. Помню, как сейчас, те знойно-горячие летние вечера, когда постель обжигала голое тело и сон не шел, как сейчас, слышу ее тихий, баюкающий голос, и мне опять так спокойно. Родная мать едва ли могла быть мне лучшей и более нежной матерью, чем простая, суеверная Кипа, у которой слепые и увечные нищие сказочники всегда могли надеяться на хороший обед.

Сказки увлекали мой ум, но их противоположностью была улица, гнездилище мух, — улица, пресыщенная множеством запахов и зловоний. Бывало, с пристани повеет волнующим ароматом кедра или душистой смолы. Или знатная женщина выгланет из своих носилок, чтоб крикнуть на мальчишек, и обронит капельку благовонного масла. По вечерам, когда золотая барка Амона клонила свой путь к горам запада, над всеми террасами и глиняными хижинами поднимался чад от поджариваемой в масле рыбы, смешанный с запахом свежего хлеба. Этот запах бедной окраины Фив запал мне в душу с детства, и я никогда его не забуду.

¹ Известна как «Сказка о потерпевшем кораблекрушение» или «Змеинный остров».

Во время обеда на террасе я получал и первые уроки из уст моего отца. Усталой походкой приходил он с улицы через сад или появлялся из своей приемной комнаты, с резкими запахами лекарств и мазей на одежде. Мама сливала ему воду на руки, и мы садились обедать, а мама подавала еду. Случалось, по улице в это время проносилась шумная ватага пьяных моряков. Они горланили песни, и колотили палками в стены домов, и останавливались по нужде под нашими кустами акации. Как осторожный человек, мой отец ничего не говорил, пока они не проходили мимо. Лишь после этого он поучительно произносил:

— Только несчастный невежественный негр или грязный сириец справляет нужду на улице. Египтянин делает это в стенах дома.

Или он замечал:

— Вино — дар богов, радующий сердце, если пить в меру. Одна чаша никому не во вред, от двух язык делается болтливым, но кто принимается за целый кувшин, тот проснется в уличной канаве ограбленный и избитый.

Случалось, до нашей веранды долетал запах душистых масел, когда мимо дома неспешной походкой проплывала красивая женщина, завернутая в прозрачную ткань, с ярко окрашенными щеками, губами, бровями, с влажным блеском в глазах. Такого я никогда не видел у других женщин. Я смотрел на нее как завороженный, а отец говорил:

— Берегись женщины, которая скажет тебе «красивый мальчик» и поманит за собой, ибо ее сердце — силок и западня, а ее объятия жгут хуже огня.

Неудивительно, что после таких наставлений я в своем детском простодушии с ужасом смотрел на винные кувшины и на красавиц: и те и другие были наделены опасным очарованием, как все страшное и пугающее.

Отец уже с малых лет позволял мне быть при нем во время приема больных. Он показывал свои инструменты, ножи, лекарственные снадобья, рассказывая, как ими надо пользоваться. Пока он осматривал больного, я стоял рядом и подавал то миску с водой, то повязки, то мази или вино. Мать моя не выносила вида ран и нарывов и удивлялась моему детскому интересу к болезням. Ребенок не может понять боли и страдания, пока сам этого не

испытает. Вскрытие нарыва казалось мне увлекательным делом, и я с гордостью рассказывал другим ребятам обо всем виденном, чтобы они относились ко мне с должным почтением. Если приходил новый больной, я внимательно следил за тем, как отец осматривал и выслушивал его, запоминая все вопросы. В заключение отец говорил: «Болезнь излечима» или «Я не берусь помочь». В иных же случаях он не брался лечить, а писал несколько строчек на полоске папируса и отсылал больного с этим в Дом Жизни, находящийся при храме. Когда такой больной уходил, отец обычно вздыхал и, качая головой, говорил: «Бедняга!»

Не все нуждавшиеся в помощи моего отца были бедняками. К нему на перевязку приносили женщин из домов увеселений, одетых в тончайший лен, порой приходили капитаны сирийских кораблей с флюсом или зубной болью. Поэтому я не удивился, когда к отцу на прием однажды явилась жена торговца пряностями, вся в драгоценностях и в воротнике из самоцветов. Пока отец внимательно ее обследовал, она вздыхала и охала, жалуясь на многочисленные недуги. Я был ужасно разочарован, когда отец, закончив осмотр, взял листок и принялся писать, а я-то надеялся, что он сможет вылечить эту больную и получит в благодарность богатые подарки, множество вкусных вещей. Я печально вздохнул, покачал головой и тихо прошептал: «Бедняга!»

Больная испуганно вздрогнула и с ужасом взглянула на отца. Но он переписывал какие-то старинные письма из ветхого свитка, потом налил в мисочку масла и вина и, опустив в эту смесь листок, полоскал его, пока все чернила не растворились в вине, затем он перелил жидкость в глиняную баночку и дал жене торговца пряностями, наказав принимать лекарство, как только начнутся боли в голове или в животе. После ухода женщины я устремил на отца вопрошающий взгляд. Он замялся, кашлянув несколько раз, и сказал:

— Во многих случаях болезнь излечивается с помощью чернил, которыми были написаны могучие заклинания.

Больше он мне ничего не сказал, а немного погодя пробормотал про себя: «Во всяком случае, лекарство больному не повредит».

Когда мне исполнилось семь лет, я получил отроческую набедренную повязку и мама повела меня в храм, где совершалось жертвоприношение. Храм Амона в Фивах был тогда величай-

шим храмом Египта. От храма богини Луны и священного озера к нему через весь город тянулась аллея, которую обрамляли изваянные из камня овцеголовые сфинксы. Храм со всеми относящимися к нему строениями был обнесен мощной, как крепость, кирпичной стеной и представлял собой как бы город в городе. На вершине высоких, как горы, пилонов развевались яркие разноцветные флаги, и колоссальные статуи фараонов стояли на страже по обе стороны медных ворот, охраняя вход на территорию храма.

Мы прошли через ворота, и продавцы Книг мертвых¹ бросились к моей матери, хватая за руки, и то шептали на ухо, то громко кричали, предлагая сделать покупку. Мать повела меня к мастерским столяров, где были выставлены статуэтки рабов и слуг, которые, повинувшись заклинанию жрецов, будут отвечать в потустороннем мире за своего владельца и работать так, что ему и пальцем пошевелить не придется. Но зачем я рассказываю о том, что всем известно, ведь все опять вернулось к прежнему, и лишь сердце человеческое не изменилось... Моя мать уплатила требуемую мзду за то, чтобы присутствовать при жертвоприношении. И я увидел, как тучные жрецы, в белых одеждах, с лоснящимися от масла бритыми головами, ловко, одним махом, закололи и разрубили на части быка, между рогами которого на плетеной из камыша косице висела печать, удостоверяющая, что животное без изъяна и не имеет ни единого черного волоска. Человек двести принимали участие в церемонии, но жрецы не обращали на них внимания и преспокойно переговаривались между собой о своих делах. Я же разглядывал таинственные изображения на стене храма и пришел в совершенное изумление от его громадных колонн. Мне непонятно было волнение матери — когда мы возвращались домой, у нее на глазах стояли слезы. Дома она сняла с меня детские туфли, и я получил новые сандалии, которые были неудобны и натирали ноги, пока я не привык к ним.

Когда я пожаловался на это, отец мой добродушно рассмеялся и сказал, что отрок из хорошей семьи не может теперь ходить по городу босиком, настолько изменились времена. Он рассказал, что еще на памяти его деда даже большие начальники могли повесить сандалии на шею и пойти босиком. Нравы тогда были

¹ *Книга мертвых* — сборник религиозных и магических текстов, которые должны были помочь покойнику преодолеть испытания в загробном мире.

проще и здоровее; женщине достаточно было узкой туники без рукавов, а теперь каждая пекущаяся о своем достоинстве женщина требует широких платяев и ярких, расцвеченных воротников. Раньше все бы смеялись над мужчиной, попробуй он надеть крахмальный плиссированный передник и широкие рукава. Поистине, дедушка не узнал бы Фив, если бы встал из могилы и посмотрел на город, вряд ли он даже понял бы повседневную речь, столько в наш язык проникло сирийских названий и слов. Каждый старается нынче употреблять побольше иноземных слов, воображая, будто становится от этого более знатным. Так говорил мой отец.

Но после трапезы отец стал серьезен, положил мне на голову свою большую умелую руку и с робкой нежностью потрепал мягкий мальчишеский вихор у правого виска.

— Тебе уже семь лет, Синухе, — сказал он, — пора решать, кем ты хочешь быть.

— Воином, — ответил я сразу же и не мог понять, отчего его доброе лицо выразило разочарование, ведь самыми лучшими для мальчишек на улице были военные игры.

Я видел, как воины боролись и учились владеть оружием на площадке перед казармой, я видел боевые колесницы, пронесившиеся за город, на учения, в крылатом трепете султанов и грохоте колес. Ведь не могло быть ничего доблестнее и почетнее профессии воина. И потом, воину не надо уметь писать, что было для меня самым важным доводом, поскольку старшие мальчишки рассказывали ужасные истории о том, как трудно научиться искусству письма и как больно учителя дерут за волосы, если нечаянно уронишь глиняную табличку или тростниковое перо сломается в неумелых руках.

Мой отец, вероятно, был не особенно талантлив смолоду, иначе он добился бы в жизни большего, а не остался простым врачом бедных. Но он добросовестно трудился, не причиняя больным вреда, и с годами у него накопился большой опыт. Он уже знал, как я самолюбив и упрям, и потому ничего не сказал о моем решении.

Но немного погодя он попросил у моей матери чашу, пошел в свою рабочую комнату и наполнил сосуд дешевым вином из большой амфоры. «Пойдем, Синухе», — сказал он и повел меня

к берегу. Я следовал за ним в недоумении. Выйдя на пристань, он остановился против ладьи, у которой гнули спины потные носильщики, выгружая зашитые в ковры товары. Солнце клонилось к горам запада, но грузчики все работали, пыхтя и обливаясь потом. Начальник подгонял их плетью, а под навесом спокойно сидел писец и тростниковым пером записывал для памяти каждый перенесенный тюк.

— Хотел бы ты стать таким, как они? — спросил отец.

Вопрос показался мне глупым, и я не стал отвечать, а только с удивлением покосился на отца, ибо уподобиться грузчикам, конечно же, никто не хочет.

— Они работают с самого утра и до позднего вечера, — сказал отец мой Сенмут. — Их кожа обгорела и затвердела, как крокодиля шкура, их ладони огрубели, как лапы крокодила. Только с наступлением темноты они разбредутся по своим жалким глиняным хижинам, и пища их — кусок хлеба, луковица и глоток кислого кваса. Такова жизнь носильщика. Такова же и жизнь землепашца. Таков удел тех, кто работает своими руками. Ты, надо полагать, не завидуешь им?

Я замотал головой и поглядел на отца с недоумением. Я ведь хотел стать воином, а вовсе не носильщиком или роющим в земле пахарем, поливщиком полей или пастухом.

— Они никогда не смогут изменить своей участи, — продолжал отец серьезно. — После смерти тела их в лучшем случае засолят и зарюют в песок. Их не ждет бессмертие и блаженная участь тех, кто еще при жизни может построить себе прочную могилу и оплатить бальзамирование своего тела, чтобы оно и в смерти сохранилось навечно. А отчего это, знаешь ли ты, Синухе?

Я смотрел на Город мертвых¹, где заходящее солнце окрасило в пурпур белые гробницы фараонов, и у меня задрожал подбородок, ибо я уже знал, к чему отец клонит.

— Оттого, что они не умеют писать, — сказал он серьезно. — Ни в жизни, ни в смерти не преуспеет тот, кто не умеет писать.

Он задумчиво поднял перед собой сосуд с вином, оглянулся, словно опасаясь, что Кипа подсматривает за нами из-за угла, потом отхлебнул глоток, вытер губы и, взяв меня за руку, повел

¹ *Город мертвых* — пустынная часть Фив на западном берегу Нила, где располагались гробницы фараонов и знати, а также захоронения простых египтян.

дальше. Я следовал за ним с тяжелым сердцем, но с твердой решимостью стать воином.

— Отец, — сказал я, шагая с ним в ногу, — жизнь воинов приятна. Они живут в казарме и получают хорошую пищу, по вечерам они пьют вино в домах увеселений, и женщины смотрят на них благосклонно. Лучшие из них носят на шее золотые цепочки, хотя они и не умеют писать. Из военных походов они привозят добычу и рабов; почему же мне не стать воином?

Но отец ничего не ответил, а только ускорил шаг. Неподалеку от большой свалки, где на нас налетели тучи гудящих мух, он наклонился и заглянул в низенькую глиняную хижину.

— Интеб, друг мой, ты здесь? — позвал он, и из лачуги выбрался, кое-как ковыляя и опираясь на палку, изъеденный вшами старик, в заскорузлой от грязи набедренной повязке и без правой руки, обрубленной почти по плечо.

Высохшее от старости лицо его густо покрывали морщины, и у него совсем не было зубов.

— Неужели, неужели это сам Интеб? — шепотом спросил я у отца, с ужасом глядя на старика.

Потому что Интеб был известный герой. Он сражался в сирийских походах при Тутмосе III, величайшем из фараонов, и о нем, его подвигах и полученных им от фараона наградах, ходили легенды.

Старик поднял руку для приветствия, как делают воины, и мой отец протянул ему сосуд с вином. Они сели на землю, потому что у старика не было даже скамейки перед хижинкой. Интеб трясущейся рукой поднес сосуд к губам и жадно стал пить вино, стараясь не пролить ни капли.

— Сын мой Синухе хочет стать воином, — сказал отец с усмешкой. — Я привел его к тебе, Интеб, ты единственный живой герой великих войн, и ты должен рассказать ему о доблестной жизни и подвигах воина.

— Во имя Сета, Ваала и всех злых сил! — хрипло воскликнул старик, потом громко засмеялся и уставился на меня близорукими глазами. — Неужто парень спятил?

Его беззубый рот, потухшие глаза, болтающаяся култышка и морщинистая грудь были так страшны, что я спрятался за спину отца, вцепившись в его рукав.

— Парень, парень! — сказал Интеб и скривился. — Если бы мне дали по глотку вина за каждый горестный миг, когда я проклинал мою жизнь и жалкую судьбу, сделавшую меня воином, я мог бы наполнить вином озеро, которое фараон, говорят, сделал на потеху своей женке. Правда, сам-то я его не видел, ведь у меня нет средств на то, чтобы заплатить лодочнику и переправиться на тот берег реки, но не сомневаюсь, что озеро наполнилось бы до краев, да еще осталось бы столько вина, что целой армии хватило бы мертвецки упиться.

Он снова стал жадно пить.

— Но, — сказал я дрогнувшим голосом, — ведь ремесло воина самое почетное из всех профессий.

— Почет и слава, — сказал герой армии Тутмоса, — это дерьмо, простое дерьмо, способное прокормить лишь мух. Я на своем веку много врал о войне и геройстве, чтобы простак, которые слушали разинув рот, угощали меня вином, но твой отец — почтенный человек, и я не хочу его обманывать. Поэтому я скажу тебе, парень, что профессия воина самая что ни на есть последняя и жалкая.

Вино немного разгладило морщины на его лице, и старческие глаза загорелись мрачным огнем. Вдруг он встал и единственной рукой схватил себя за горло.

— Смотри, парень! — воскликнул он. — Эту тощую шею когда-то украшали пять золотых цепочек. Сам фараон собственноручно надел их на меня. Кто может сосчитать отрубленные руки врагов, которые я сложил перед его шатром? Кто первым взобрался на стену Кадеша? Кто, как разъяренный слон, сеял смерть и смятение во вражеских рядах? Это я, Интеб, герой! Но кто теперь меня за это возблагодарит? Золото мое пошло бродить по свету, рабы, добытые на войне, разбежались или поумирили. Правая рука моя осталась в стране Митанни, и быть бы мне уже давно уличным нищим, если бы не добрые люди, которые время от времени приносят немного сушеной рыбы да пива за то, что я рассказываю их детям правду о войне. Я, Интеб, великий герой, но ты погляди на меня, сынок. Молодость моя осталась в пустыне, где я познал голод, болезни и тяжкий труд. Там высохло мясо на моих костях, там задубела моя кожа, там ожесточилось сердце. И что хуже всего, в безводных пустынях пересохла язык и глотка, и я заразился вечной жаждой, как всякий воин, кому посчастли-

вилось вернуться живым из походов в далекие страны. Поэтому жизнь моя стала как теснина загробного мира с тех пор, как я потерял руку. И я не хочу даже помянуть о боли, ранах и страданиях, причиненных мясниками-хирургами. Они ведь сперва отпилят руку, затем обваривают култышку в кипящем масле, это твой отец прекрасно знает. Да будет благословенно имя твое, Сенмут, справедливый и добрый, но вино кончилось.

Старик замолчал, отдышался, сел на землю и, уныло покачав головой, перевернул глиняную кружку вверх дном. Дикая огонь в глазах его погас, и передо мной опять был старый, несчастный человек.

— Но воину не надо уметь писать, — робко прошептал я.

— Хм... — произнес Интеб и бросил взгляд на моего отца.

Отец быстро снял одно медное кольцо с запястья и протянул старику. Тот громко закричал, и тут же прибежал грязный мальчишка, взял кольцо и кружку и отправился в кабачок за вином.

— Не покупай лучшего! — крикнул Интеб ему вдогонку. — Возьми хоть кислого, его дадут больше! — Он опять обратил ко мне задумчивый взгляд. — Ты прав, — сказал он, — солдату не нужно уметь писать. Он должен лишь уметь сражаться. Если бы он умел писать, он был бы начальником и командовал солдатами, даже самыми доблестными, и посылал бы других в бой впереди себя. Потому что любой грамотный годится на то, чтобы командовать, но даже начальником сотни не назначат того, кто не умеет царапать тростниковым пером по папирусу. Что проку в золотых цепях и почетных знаках, если командует тот, у кого в руке тростниковое перо? Но так было, и так будет всегда. Поэтому, сынок, если хочешь командовать воинами и управлять ими, научись прежде писать. Тогда украшенные золотыми цепями будут повиноваться и кланяться тебе и рабы понесут тебя на поле боя в носилках.

Грязный мальчишка вернулся с кувшином и кружкой, полными вина. Лицо старика озарилось радостью.

— Отец твой Сенмут — хороший человек, — сказал он любезно. — Он умеет писать и лечил меня в дни моей силы и счастья, когда я, заливаясь вином, повсюду начал видеть крокодилов и бегемотов. Он славный муж, хоть всего лишь лекарь и ему не под силу натянуть тетиву лука. Спасибо ему!

Я с ужасом смотрел на целый кувшин вина, за который Интеб явно хотел приняться, и начал нетерпеливо дергать отца за широкий, испачканный снадобьями рукав, ибо мне было страшно, что из-за этого вина мы скоро проснемся избитыми в какой-нибудь уличной канаве. Отец мой Сенмут с грустью посмотрел на кувшин, тихо вздохнул и, повернувшись, повел меня прочь. Интеб дребезжащим старческим голосом запел сирийскую походную песню, а голый, черный от загара мальчишка слушал и смеялся.

В тот вечер я, Синухе, похоронил мечту о воинской карьере и уже не сопротивлялся, когда на следующий день отец и мать повели меня в школу.

4

У отца, разумеется, не было средств на то, чтобы определить меня в большую школу при храме, — в таких школах учились сыновья знати, богачей и жрецов высшего чина. Моим учителем стал старый жрец Онех, живший от нас всего лишь через две улицы; он занимался с нами у себя дома на ветхой, покосившейся террасе. Его учениками были дети ремесленников, торговцев, портовых надсмотрщиков и младших офицеров, чьей честолюбивой мечтой была карьера писца. Онех в свое время служил складским учетчиком в храме, так что он вполне мог дать начальные навыки письма детям, которые впоследствии должны будут учитывать, сколько принято и отпущено товаров, мер зерна, голов скота, или выписывать счета за продовольствие для солдат. В Фивах, этом огромном городе, были десятки и сотни таких маленьких школ. Учение стоило дешево, потому что ученики должны были лишь содержать старого Онеха. Сын угольщика приносил древесный уголь для его жаровни, сын ткача снабжал его одеждой, сын зерноторговца обеспечивал мукой, а мой отец лечил от множества старческих недугов, давал облегчающие боли снадобья — настоя трав, которые надо было пить с вином.

Благодаря этой зависимости Онех был нестрогим учителем. Если кто-нибудь из нас засыпал над письменной дощечкой, то вместо наказания розгами отделялся тем, что на следующий день притаскивал старику какой-нибудь лакомый кусок. Иногда сын зерноторговца приносил из дому кувшин пива. В такие дни мы внимательно слушали нашего учителя, потому что старый

Онех увлеченно рассказывал удивительные истории и приключения в загробном мире и сказки о небесной Мут, о создателе всего — Птахе и о других богах, которых он знал. Мы хихикали, думая, что ловко провели его, так, что он на весь день позабыл трудные уроки и нудные письменные упражнения. Лишь гораздо позднее я понял, что старый Онех был более мудрым и тонким учителем, чем нам казалось. В сказаниях, оживляемых его по-детски чистым воображением, был известный расчет. Таким образом он учил нас нравственным законам древнего Египта. Всякое зло не останется безнаказанным. В свое время пред высоким тронном Осириса будет без снисхождения взвешено сердце каждого человека, и тот, чьи злые дела выявятся на весах бога с головой шакала, будет брошен на съедение Амт, а Амт — это крокодил и бегемот в одном лице, но страшнее их обоих.

Он рассказывал также о мрачном боге с лицом, обращенным назад, ужасном перевозчике через реку в загробное царство. Без его помощи ни один умерший не попадет в край вечного покоя. Он гребет, всегда глядя назад, а не вперед, как земные лодочники на Ниле. Онех заставил нас вытвердить наизусть слова заклинаний, с помощью которых можно уговорить и задобрить Глядящего вспять. Мы многократно переписывали эти обращения, а он терпеливо, с мягкой настойчивостью поправлял наши ошибки. Тем самым он хотел нам внушить, что малейшая ошибка может сделать невозможной счастливую жизнь в Стране Заката, а если мы дадим Глядящему вспять неграмотное письмо, то на веки вечные останемся бродячими тенями на пустынном берегу мрачной, темной реки или, того хуже, попадем в страшные пропасти подземного царства.

Несколько лет я ходил в школу Онеха. Отец считал, что нельзя насильно навязать человеку профессию, если к ней не лежит душа, и, если бы я не проявил способностей, он не стал бы делать из меня писца. Правда, тогда я этого еще не знал.

Самым интересным моим товарищем в школе Онеха был Тутмес. Старше меня на два года, он с малых лет привык обращаться с лошадьми и знал приемы борьбы. Его отец командовал группой боевых колесниц, носил знак своей власти — кнут с вплетенными в него медными проволоками и мечтал сделать из сына великого полководца, для чего и послал его учиться письму. Но его славное имя Тутмес не стало вещим предзнаменованием вопреки

надеждам отца. Ибо, поступив в школу, он забросил метание дротиков и конные упражнения. Письменные знаки давались ему легко, и, пока остальные ребята корпели до изнеможения над своими дощечками, он рисовал что в голову взбредет — боевые колесницы, вздыбленных коней, сражающихся воинов. Он принес в школу глину и совершенно преобразил пивной кувшин, оживляя Онеховы сказки. Он изобразил уморительнейшую Амт, неуклюже разинувшую пасть, чтобы проглотить маленького, сгорбленного, лысого старичка с обвисшим брюшком, — в последней фигуре нетрудно было узнать Онеха. Но Онех не рассердился. Да и никто не мог сердиться на Тутмеса. У него было простое, широкое крестьянское лицо и толстые, короткие ноги, но в его глазах всегда горели веселые искорки, а его ловкие руки искусно лепили из глины всевозможных животных и птиц, доставлявших нам истинную радость.

Во время учебы со мной произошло чудо. Это случилось внезапно, так что я и сейчас еще вспоминаю тот миг как откровение. Был ласковый весенний день, в воздухе звенели птичьи голоса, и аисты хлопотливо чинили гнезда на крышах домов. Вода уже сошла, и земля вспыхнула свежей зеленью. На огородах высаживали рассаду. Такой день звал к увлекательным приключениям, и мы никак не могли усидеть спокойно на рассохшейся террасе Онеха, из стен которой вываливались кирпичи. Я рассеянно выводил нудные буквы, которые высекают на камне, а рядом с ними сокращенные скорописные знаки. Как вдруг какое-то уже забытое слово Онеха будто сдвинуло что-то во мне и разом оживило написанное. Из картинке возникало слово, от слова отделялся слог, слог становился буквой. Соединяя друг с другом картинки-буквы, можно было получать новые слова — живые, странные слова, которые уже не имели ничего общего с картинками. Картинка понятна даже простому поливщику полей, но две картинка, поставленные рядом, может понять только грамотный. Мне думается, каждый, кто учился искусству письма и научился читать, испытал нечто подобное тому, о чем я говорю. Для меня это было событием более волнующим и увлекательным, чем украденное из корзины торговца гранатовое яблоко, более сладким, чем сушеный финик, и столь же желанным, словно вода для жаждущего.

С тех пор меня больше не нужно было уговаривать. С тех пор я впитывал науку Онеха, как сухая земля — воду разлившегося

Литературно-художественное издание

МИКА ВАЛТАРИ
ЕГИПТЯНИН

Ответственный редактор Анна Сарафанова
Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Татьяна Тихомирова
Компьютерная верстка Елены Долгиной
Корректоры Ирина Киселева, Светлана Федорова,
Валерий Камендо

Подписано в печать 06.11.2019. Формат издания 60 × 90 ¹/₁₆.
Печать офсетная. Тираж 4000 экз. Усл. печ. л. 50. Заказ №

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —
обладатель товарного знака «Издательство Иностранка»
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А
ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua
Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19
E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге: Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60. E-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве: ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах: www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества
размещена по адресу: www.azbooka.ru/new_authors/



V-ILN-25623-01-R